



В. Ф. ЭРН

От Канта к Круппу

I

От Канта к Круппу... Почему Канта? Почему к Круппу?¹ Я начинаю с Канта как с величайшей вехи в манифестации германского духа. У Канта есть предки; главные: Экхарт, Лютер, Бёме. Но у меня нет времени говорить, как один из них породил другого. Я только скажу, что не этот пункт возбуждает споры. Недавно все были согласны в том, что великая германская культура едина и непрерывна. Мы слышали много убежденных речей, утверждавших, что самые последние школы немецкой философии исполнены мировых, а не только германских традиций. Больше того, мы все знали, что философ абстрактной идеи, Гегель, воскурил фимиам диалектического признания перед прусскою государственностью, а его блестящий ученик Куно Фишер низко и многократно склонял свою седую голову перед делом Бисмарка. И знавшие это не удивлялись.

Но вот налетает война. Под мягкой шкуркой немецкой культуры вдруг обнаружились хищные кровожадные когти. И лик «народа философов» исказился звериной жестокостью. Малин и Лувен, Калиш и Реймс² вызвали бурю негодования, и все разом, дружно решили, что немецкая культура — одно, а зверства — другое, что Кант и Фихте столько же повинны в милитаристических затеях прусского юнкерства, сколько Шекспир и Толстой, и потому: да здравствуют Кант и Гегель, и да погибнут тевтонские звери!

Моя речь — самый страстный протест против этого упрощенного понимания всемирной истории. Я сразу скажу свои тезисы и затем перейду к доказательствам. Я убежден, во-первых, что бурное восстание германизма предрешено Аналитикой Канта; я

убежден, во-вторых, что орудия Круппа полны глубочайшей философичностью; я убежден, в-третьих, что внутренняя транскрипция германского духа в философии Канта закономерно и фатально сходится с внешней транскрипцией того же самого германского духа в орудиях Круппа. Само собой разумеется, в краткой речи я должен ограничиться самыми общими характеристиками и остановиться на пунктах лишь самой существенной важности.

Острие Кантовой мысли, нашедшей свое крайнее и бесстрашное выражение в первом издании «Критики чистого разума», сводится к двум принципам: к абсолютной феноменалистичности всего внешнего опыта и к абсолютной феноменалистичности всего опыта внутреннего; из этих двух принципов, установленных в трансцендентальной Эстетике и трансцендентальной Аналитике, сами собой вытекают два радикальнейших положения: 1) никакой ноумен, т. е. ничто онтологическое, не может встретиться в нашем внешнем опыте, и 2) ничто ноуменальное, т. е. относящееся к миру истинно Сущего, не может быть дано и реализовано в нашем внутреннем опыте. А так как кроме внешнего и внутреннего опыта нет никаких иных путей познания, то «Критика чистого разума» оказалась всемирно-историческим глашатаем чистейшей формы абсолютного имманентизма. Конечно, в Канте жили остатки платонического трансцендентизма, и эти остатки: идеи умопостигаемой свободы и понятие «вещи в себе». Но эти платонические реминисценции Канта абсолютно не вяжутся с его основными принципами. Что понятие вещи в себе некритично и произвольно, это было блестяще раскрыто Фихте; что идея умопостигаемой свободы есть совершенный non-sense с точки зрения абсолютной феноменалистичности внутреннего опыта, это должно быть ясно для всякого, кому не лень только подумать. Внутренний опыт, сплошь и безызытно подчиненный феноменологической форме времени об одном измерении, конечно, никак не может вместить в себя ноумена свободы*.

Основные принципы кантовского феноменализма были несокрушимой осью всего дальнейшего движения немецкой мысли: Фихте окончательно разонтологизировал Природу. Гегель с безудержностью понял все бытие как абсолютный процесс. Наконец, полувековая коллективная работа новейшего канти-

* Подробнее я говорю об этом в работе: Природа мысли // Богосл<овский> вестн<ик>. 1913. Ср. также: Критика кантовского понятия истины. Сборник в честь Л. М. Лопатина. М., 1911.

анства дружно установила универсально-имманентистские тезисы. Напротив, платонические реминисценции, столь характерные для личности Канта и столь противоречащие основам его философии, имеют в дальнейшем движении немецкой мысли смысл придаточных предложений. В немецком идеализме много платонизирования, особенно в зрелом Шеллинге, которого уже никто не хотел слушать, но это платонизирование не имеет онтологических корней в исходных и основных линиях немецкой мысли и потому всегда поражено безземною, безосновною немощью люциферианского романтизма. Феноменализм Канта для немецкой мысли есть прочное и «научное» достояние, несокрушимое, железобетонное завоевание германского духа. Платонические же реминисценции — мечтательные остатки старонемецкого благодушья.

Транскрипция верховных достижений «Критики чистого разума» в плане исторического самоопределения немецкого народа сама собою намечалась с фатальною необходимостью. Нужно помнить, что в атмосфере протестантизма с его безусловным приматом «разумности» кантовская фиксация сил и способностей разума была событием чрезвычайной церковной важности. Один немецкий историк совершенно правильно констатирует: «“Критика чистого разума” имела для нас, немцев, почти такое же значение, какое для французов революция 1789 года»³. Высшим и самым гениальным представителем разума целой расы с категоричностью установлена была некая первичная истина о самых первичных до-опытных и до-действенных формах разумного сознания. Все историческое и традиционное, все инстинктивное и природное, все вдохновенное и благодатное тем самым принципиально отменялось в своем абсолютном значении и ставилось под контроль и тяжелую руку феноменалистического первопринципа. О, Кант недаром чувствовал законодательственный характер своего разума! Хотел он предписывать законы Природе, поистине же стал Ликургом выступающего на всемирную сцену германского духа.

Феноменалистический первопринцип Канта в историческом самоопределении немецкого народа неизбежно должен был сгуститься в весьма определенные и конкретные вещи. Если внутренний и внешний опыт действительно лишен всяческого контакта с ноуменом, т. е. с миром истинно Сущего, тогда ноумену нет никакого места ни в теоретическом представлении человека о совокупности мировой жизни, ни в практической деятельности, взятой во всех ее проявлениях. Крик Ницше: «*der alte Gott ist todt*»⁴ есть явный анахронизм. Старый Бог умер, гиль-

отинирован был в лабиринте Трансцендентальной Аналитики. Палачом старого и живого Бога был Кант, и с тех пор сложное и титаническое явление немецкой культуры было лишь всегерманским приобщением к потрясающей тайне богоубийства, свершившегося в неисследимых глубинах немецкого духа. Джоберти, с поразительной для своего времени меткостью, называет Канта чистейшим психологистом, *mero psicologista* *, это значит: контакт разума с Сущим, т. е. с Богом, был «закондательно» перерезан именно Кантом.

В плане истории теоретическое богоубийство как априорный и общеобязательный для всякого «немецкого» сознания принцип неизбежно приводит к посюстороннему царству силы и власти, к великой мечте о земном владычестве и о захвате всех царств земных и всех богатств земных в немецкие руки. Если весь внешний опыт абсолютно феноменалистичен, тогда на арене истории ничего не значит святыня, ничего не значит подлинная онтологическая Справедливость, ничего не значит Божественный Промысел. Первым великим всходом кантовского посева был величественный расцвет феноменалистических наук в Германии. Эти науки интересовались решительно всем, кроме Истины **, и бессознательно превратились в систематическую, методологическую и грандиозную разведку всех мировых и духовных условий для грядущего торжества германского духа. С другой стороны, если феноменалистичен и внутренний опыт, тогда все императивы и максимы морали неизбежно превращаются в количественный принцип гимнастического увеличения «силы воли». Онтологическое и безусловное качество воления отбрасывается как *überwundener Standpunkt* ⁵.

Категорический императив Канта по своей абсолютной формальности не мог оказать никакого сопротивления. Он говорил эмфатически, с величайшей силой: «Ты должен», но что именно должен — он этого никак не мог выговорить. Раскаты кантовского «*Du sollst*» гремели в воздухе и... никого не убивали. Немцы так свыклись с этим безобидным атмосферическим явлением, что иные из них пытались использовать его с практическими целями. Известный последователь Канта, возвышенный Виндельбанд, на выборах говорил: «Категорический императив заставляет меня голосовать за национал-либералов». *Se non è*

* Ср. мою статью: Критика новой философии у Джоберти // Вопр<осы> фил<ософии> и пс<ихологии>. 1914.

** См. об этом мою статью: Природа научной мысли // Бог<ословский> вестн<ик>. 1913.

vero, è ben trovato!⁶ Во всяком случае, линия от пустого категоризма Канта к энергетизму промышленно-научно-философского напряжения германской нации очевидна. Германский народ в своем целом понял себя как феномен, пусть грандиозный, но все же только феномен, и стал планомерно осознавать себя в биологических категориях.

Но от биологии один шаг к зоологическим следствиям. Убиение Сущего в воле, совершенное Кантом, постулировало крайнее развитие волевой мускулатуры, а убийство Сущего в разуме, совершенное им же, раскидывало прельстительную арену для проявления этой мускулатуры: для германского сознания со всего мира были сняты онтологические запреты и высшие предназначения, и географическая карта Земли предстала германскому воображению огромным и сладким «меню» невиданного и неслыханного в истории мирового пиршества. Но для этого нужно было мускулатуру воли и внутренних напряжений одеть несокрушимой броней милитаризма*. Восстание германизма как военный захват всего мира, как насильственная мировая гегемония *manu militari*⁷ коренится, таким образом, в глубинах феноменалистического принципа, установленного в первом издании «Критики чистого разума». Этим самым оправдывается мое первое убеждение о закономерной и фатальной зависимости перехода немецкой нации в модальность всемирно-милитарных манифестаций от феноменалистической философии кенигсбергского Ликурга.

II

Теперь мне предстоит раскрыть второе мое убеждение: о глубочайшей философичности орудий Круппа. Да не подумает кто-нибудь, что я хочу иронизировать. Я отношусь к этому тезису с величайшей серьезностью. Уже из сказанного раньше намечается глубокая связь орудий Круппа с немецкою философией. Если немецкий милитаризм есть натуральное детище Кантова

* Т. Циглер в своей «Истории умственных и общественных течений XIX века» определенно проговаривается о роли Бисмарка в немецком самосознании: «В нашей национальной жизни и в нашем чувствовании Бисмарк, этот гигант по силе воли и деятельной энергии, является решающим узлом, влияние которого мы ощущаем в самых недрах философского творчества» (СПб., 1901. С. 10), — и явление которого, добавим от себя, было подготовлено в тех же философских недрах немецкого народа.

феноменализма, коллективно осуществляемого в плане истории целую расою, то орудия Круппа — суть самое вдохновенное, самое национальное и самое кровное детище немецкого милитаризма. Генеалогически орудия Круппа являются, таким образом, детищем детища, т. е. внуками философии Канта. Но это заключение силлогистично. Материально оно не наглядно, и чтобы сделать его наглядным, я подойду к вопросу с другой стороны.

Кто изучал историю стилей, того должно было всегда поражать глубокое и строгое соответствие между стилем данной эпохи и ее скрытой душой. Насколько мы знаем историю, везде мы констатируем неистребимую потребность человечества бессознательно, почти «вегетативно», запечатлевать свою скрытую духовную жизнь в различных материальных образованиях. Одним из чистейших образцов самого подлинного запечатления духа в материи является средневековая готика. В Реймском соборе или в Notre Dame de Paris мы имеем каменную транскрипцию несказанного тона старого французского католичества. По башенкам, статуям, химерам, сводам, колоннам и ковровым vitraux⁸ готических святень мы можем, вслед за Гюисмансом⁹, проникать в самые глубокие тайники средневековой религии. И вовсе не нужно, чтобы эти материальные облачения духа известной эпохи или известного народа были непременно феноменом эстетическим или, попросту говоря, были «прекрасны». Иногда и самое крайнее, отпечатлевшееся в материи «безобразие» бывает точнейшим и нагляднейшим выявлением скрытых духовных реальностей. Не в красоте дело, а в чем-то другом. Тут важно установить живой мост между «внешним» и «внутренним», нащупать живую ткань, по которой происходит кристаллизация внутренних энергий во внешние материальные формы.

Орудия Круппа с этой точки зрения являются безмерно характерными и показательными. Если бы даже мы не установили связи Кантова феноменализма с немецким милитаризмом, то, смею думать, мы могли бы проделать обратный путь: от милитаризма к феноменализму. Для очень внимательного и пристального глаза анализ крупповских пушек, без всяких мистических прозрений, должен был бы с несомненностью показать, какое основное, глубинное жизнечувствие, могущее легко быть выраженным в терминах философских, характеризует народ, эти орудия создавший. Заметьте, орудия Круппа суть безусловная вершина германской промышленной техники. Если рассматривать их «материю», то ее строение окажет-

ся беспредельно тонким, замысловатым и — если можно так выразиться — сгущенно-интеллектуальным. Нужно было крайнее, беспримерное развитие физики, механики, математики и строительной техники для того, чтобы создать эти гигантские истребители. Нужна была солидарная совместная работа поколений ученых, промышленников и государственных деятелей для того, чтобы их осуществить. Мало того, нужен был еще некий тайный национальный consensus, некое глубинное, расовое самоопределение воли. Ведь техника Германии по своей глубочайшей научности и теоретической обоснованности, по отзывам знатоков, занимает первое место в мире. Конечно, для завоевания этого первенства недостаточно было усилий отдельных частных лиц, нужно было какое-то мощное коллективное произволение. В крупнейших орудиях Круппа первенствующая в технике Германия доходит до некоего человеческого предела. Странно сказать, эти орудия почти неперевозимы, почти что выходят за границы практической годности, почти что невозможны в смысле неосуществимой разорительности. Если отвлечься от всякой оценки этих чудовищ и сосредоточиться лишь на колоссальных суммах человеческой энергии, в них вложенной, то мы должны прийти к парадоксальному выводу: по количеству затраченных сил, по солидарности коллективного творчества орудия Круппа безусловно превосходят такое беспримерное, казалось бы, проявление коллективного, многовекового созидания, как средневековая готика.

Но еще более показательным является качество энергии, реализованной в орудиях Круппа. Заложенная в них сущность, их энтелехия¹⁰ и душа, необычайно красноречива по своему совершенно обнаженному смыслу. Прежде всего, она необыкновенно уверена в себе, самонадеянна и горда. Она блестит и лоснится не только внешней шлифовкой и чистотою работы, но и вся преисполнена бесспорностью математических вычислений, аподиктичностью строгого расчета и необходимостью непреодолимых разрушительных действий. Вот почему немцы столь слепо и столь фатально уверились в своих еще не осуществившихся победах. Орудия Круппа были для них всенемецкими, национальными а priori всего военно-политического «опыта», долженствовавшего развернуться перед ними. Владея секретом этих орудий, немцы как бы «антиципировали» основные линии надвигающихся событий и уверились в том, что в их руках — самый глубинный принцип того кантовского «законодательства», коим с неизбежностью весь сырой материал грядущих потрясений должен был быть оформлен категориями и «схема-

ми» основных вожделий пангерманизма. Они даже стратегию подчинили орудиям Круппа!

И это могло случиться только потому, что энтелехийная сущность орудий Круппа совпала с глубочайшим самоопределением немецкого духа в философии Канта. Ибо кроме гордой самонадеянности энтелехия орудий Круппа как своей основной чертой характеризуется самопогруженностью, самозамкнутостью, абсолютной практической самозаконностью. Орудия Круппа суть чистейший вид научно и технически организованного «бытия для себя». Глубинное самоопределение немецкой нации находит в них свое крайнее и наиболее грозное выражение. Феноменалистический принцип «аккумулируется» в орудиях Круппа в наиболее страшные свои сгущения и становится как бы прибором, осуществляющим законодательство чистого разума в больших масштабах всемирной гегемонии. Разрушительность гигантских снарядов Круппа, их дикая насильственность логически вытекает из их феноменалистической сущности. Международное право, верность данному слову, святыни религии, человеческая честь — все это абсолютно «превзойденные точки зрения». Феноменализм для своего распространения не нуждается в добром согласии или в убеждении народов, подлежащих процессу немецкой феноменализации. Орудия Круппа — слишком живое, не требующее никаких оправданий явление превозмогающей силы и правды феноменалистического принципа, взятого *an und für sich*¹¹. Поэтому в Сионе немецкого феноменализма, где святое святых есть «Критика чистого разума», орудия Круппа занимают почетное и логически необходимое место. Кант в самых характерных и оригинальных моментах своей философии диалектически постулирует Круппа, Крупп в самых гениальных созданиях своих дает материальное выражение феноменалистическим основаначалам Кантовой философии. Таким образом, оправдывается и мое второе убеждение о глубочайшей философичности орудий Круппа.

III

Какой же вывод вытекает из двух установленных тезисов? Вывод огромный, составляющий как бы ключ к духовному смыслу разразившегося европейского катаклизма. Из установленных тезисов мы должны вывести прежде всего, что переживаемая нами война, беспримерная по своим размерам и по своему ожесточению, есть в своей глубочайшей духовной сути

столкновение всемирно-исторических начал. Немецкий народ в этом столкновении, так же, как и народ русский, а может быть, и все союзные нам нации, мобилизовал решительно всю наличность своего духовного и материального бытия. За блиндированную стену, которая вдруг укрыла от всего мира германский народ, мы должны без всякого малодушия чувствовать великий ряд величайших имен, созидавших в продолжение столетий «культуру», абстрактное поклонение перед которой у нас распространено до сих пор. От Экхарта к Канту шел великий процесс внутреннего осознания германской идеи. От Канта началась сложнейшая реализация осознанной идеи в плане исторического бытия. И весь этот процесс есть нечто единое и непрерывное, приводящее вплотную, с логической необходимостью, к Круппам и Цеппелинам. Сами немцы прекрасно чувствуют эту «круговую поруку» в манифестациях своего духа. Под заявлением о безусловном тождестве германской культуры с германским милитаризмом подписывается цвет немецкой науки и немецкой философии¹². Такие громкие и почтенные имена, как Гарнак, Brentano, Шмоллер, Э. Мейер с одной стороны, а с другой — Вундт и Оствальд сами собой подписываются под тем констатированием существенной однородности и единого замысла германской культуры, которое я пытался сделать в настоящей речи. То, что сами немцы усердствуют в подтверждении моего истолкования духовных корней современной войны, является последней, неожиданно экспериментальной проверкой справедливости основных моих тезисов.

Теперь, в заключение, позвольте сказать мне несколько слов об оценке того, что до сих пор я описывал как беспристрастный историк. Картина бурного вакхического восстания германизма во исполнение глубинной национальной мечты представляется мне не только величественной и потрясающей, но и глубоко трагической и полной вселенского смысла В зрелище современной Германии, над коей невидимая десница уже начертала *мене, текел, фарес*¹³, мы видим, по меткому уподоблению Вяч. Иванова, все элементы античной трагедии¹⁴. Греки с непревзойденной глубиной чувствовали, что в основе трагической гибели лежит некая скрытая, часто неведомая вина, и одной из любимых завязок трагедии, естественных и почти осязательно ясных, была для греков ὕbris, по-русски — надменность, спесь, направленная не против людей, а против богов. ὕbris и составляет корень германской трагедии. Метафизическая спесь, впервые явленная Экхартом, проникает наиболее оригинальные отделы «Критики чистого разума». В Гегеле она раскидывается гени-

альным пожаром. В истекающем кровью Ницше переходит в трагическое безумие. И это безумие, как я четыре года тому назад доказывал, — закономерно, фатально*. За ὕβρις неизбежно следует ἄτη, т. е. помрачение разума, трагическое затмение светлых сил разумения. Этому соответствует в германском народе переход ко всестороннему феноменалистическому самоопределению. Германское безумие проходит формы научные, методологические, философские и наконец срывается в милитаристическом буйстве. Величайшие счетчики мира вдруг просчитались по всем счетам и, сделав ряд «сумасшедших» дипломатических и стратегических промахов, ринулись прямо под меч карающей Немезиды. Медленно или быстро опустится этот меч, мы не беремся сказать. Во всяком случае, он уже занесен, и приход Керы, т. е. окончательной гибели, составляющей третий и последний момент трагедии, верим, не так уж далек.

И это величавое трагическое зрелище, в котором участвует *in corpore*¹⁶ чуть ли не стомиллионный народ, имеющий за спиной своей века напряженной и интенсивной культуры, полно глубочайшего вселенского смысла. Путь германского народа, приводящий к неминуемой катастрофе, есть достояние и внутренний опыт всего человечества. Люциферианские энергии с крайним напряжением, особенно в последнем столетии, сгрудились в немецком народе — и вот, когда теперь нарыв прорывается, все человечество в согласном порыве ощущает всемирно-исторический катарсис.

Будем же дружно молить великого Бога браней, ныне взявшего в крепкие руки Свои будущее всего мира и будущее народа нашего, о двух вещах:

О том, чтобы славные войска наши своею духовною мощью и великим покровом Пречистой опрокинули и погнали перед собой бронированные немецкие рати.

О том, чтобы катарсис европейской трагедии был пережит нами во всей глубине и чтобы мы навсегда преодолели не только периферию зверских проявлений германской культуры, но и стали бы свободны от самых глубинных ее принципов, теперь разоблачающихся для тех, кто имеет очи видеть и уши слышать.



* Борьба за Логос. М., 1911. С. 341—345¹⁵.